



В.Дудинцев

МЕЖДУ ДВУМЯ РОМАНАМИ

Автобиографическая
повесть

Владимир Дудинцев

Между двумя романами

«АРДИС»

2000

Дудинцев В. Д.

Между двумя романами / В. Д. Дудинцев — «АРДИС», 2000

Автобиографическая повесть Владимира Дудинцева «Между двумя романами» – это воспоминания, магнитофонные записи, выдержки из интервью, рукописные заметки, опубликованные после смерти писателя его семьёй. Это искренний и честный рассказ-монолог о трёх десятилетиях, разделяющих опубликование двух самых известных, знаковых произведений Дудинцева – романов «Не хлебом единым» (1956) и «Белые одежды» (1986).

© Дудинцев В. Д., 2000

© АРДИС, 2000

Содержание

Несколько предварительных строк	5
Глава 1	6
Глава 2	9
Глава 3	12
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Дудинцев Владимир

Между двумя романами

*Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.*

А. С. Пушкин

Несколько предварительных строк

Эти записи, сделанные в 1985–1987 годах, Владимир Дмитриевич полагал использовать в задуманном им новом романе, который, вопреки обыкновению писателя, имел уже имя – «Дитя» («Не хлебом единым» и «Белые одежды» названия, родившиеся в ходе работы). Однако ранее, когда, вылезая из очередного инфаркта, он начал наговаривать на магнитофон свои воспоминания, он готовился их напечатать в виде повести «Между двумя романами». Был даже анонс в журнале «Нева».

К 1992 году все записки с мыслями и сюжетом были собраны воедино, и началась непосредственная работа над новым романом по его собственному методу: большое полотно, склеенное из листов ватмана, разбивалось на главы, и – пошло изготовление «лоскутного одеяла» (по выражению В. Д.), то есть приготовленные записки наклеивались в соответствующую колонку – главу. Таков был первый этап творения романа.

Весной 1993 года Владимира Дмитриевича настигла тяжелая болезнь. И все-таки до самого конца его не покидала надежда: встанет и закончит роман. Оттого и не разрешал печатать уже готовые воспоминания. И только в последние дни показал рукой на папку с воспоминаниями – действуйте.

Теперь, когда его уже нет с нами, мы, жена Владимира Дмитриевича и его дети, выполняем волю писателя.

При подготовке повести использованы записи, сделанные в 1985 году, выдержки из интервью разных лет и рукописные заметки писателя.

После напечатания «Белых одежд» прошло двенадцать лет. Помнит ли Дудинцева читатель? После «Не хлебом единым» помнили тридцать лет, узнавали, радовались встрече. Владимир Дмитриевич как-то сказал: «Сильна наша Родина в первую очередь не оружием, хотя бы и самым страшным, а духовной высотой нашего народа. Как кидаются на каждую стоящую над привычной серостью книгу, сколько «гудят» о прочитанном, волнуются, в каких очередях стоят на художественные выставки, просят лишнего билета на концерт в консерваторию. Пока мы такие, нас не победить».

Посмотрим, вспомнит ли нынешний читатель писателя, который не боялся рассказать ему правду об обществе, где мы живем, и пытался вооружить для борьбы со злом.

Глава 1

Знаменательный день в моей жизни

1956 год. Двадцать пятое октября. Перед Домом литераторов – толпы народа. Вся улица Воровского, насколько охватывает глаз, – головы, головы, головы... Сегодня должно состояться обсуждение моего романа «Не хлебом единым». Окна, двери, крыша Дома литераторов забиты людьми. Чуть не на проводах висят. Тут и там шуточные плакаты вроде: «Пропустите меня, я Симонов!» Все так и было. Ничего в этом рисунке, ни капли, не утрировано. Даже не хватает конной милиции, которую кто-то вызвал.

Общество ждало открытого слова – слова правды. И, видно, мне выпало такое счастье – сказать его, да еще быть понятым. После стольких лет лжи правда нуждалась в защите. Вот и собрались люди – защищать мой роман.

Здание уже было набито до отказа. Пройти внутрь обычным путем – толпа бы нас и близко не подпустила. Каждый сам хотел попасть в здание. Это была прямо Ходынка какая-то, иначе не скажешь... Мы с женой, словно мелкие букашки, пробирались ко входу и не могли пробраться.

– Я – Дудинцев, автор, пропустите, без меня обсуждение не начнется, тщетная мольба.

– Знаем мы таких авторов, я сам автор, – слышалось в ответ. И вдруг, как маяк над толпой, – белая голова Симонова. Предусмотрительный, он позвонил из соседнего дома в ресторан Дома литераторов и договорился: в определенное время, с точностью чуть ли не до секунды, мы подойдем к двери ресторана, и нам ее откроют. Сверили часы – как на фронте перед атакой – и пошли. И вот, секунда в секунду, открывается дверь, мы в нее влетаем, как пробка из шампанского, а за нами – еще несколько человек. И тотчас же изнутри дверь подпирают бревном...

Мы понеслись по коридору, как в комедийном фильме, сбив при этом официанта, у которого с подноса разлетелись котлеты. И ворвались в зал (теперь он называется Малым, а тогда был единственным: нового здания еще не было). Зал был переполнен, но нас с Симоновым ждали места в президиуме. Должен сказать, что со сцены открылась картина почти невероятная: люди сидели везде, где только можно, даже на полу, плотно стояли в проходах; в форточках окон торчали по несколько голов. Это, знаете, надо уметь пробраться каким-то образом на второй этаж, по трубам, что ли, и оккупировать все окна.

Между тем в бурлящем море партера остались несколько пустых кресел, явно ожидавших важных гостей, ответственных товарищей. И действительно, через некоторое время смотрю: какие-то молодые люди расталкивают толпу, закупорившую вход, образуют свободную дорожку, и по ней проходят серьезные и строгие товарищи в хороших костюмах, садятся в приготовленные кресла и, как по команде, достают свои блокноты и авторучки с золотыми перьями.

Наконец началось обсуждение. Вел его Всеволод Иванов, о котором я не могу не сказать несколько слов: это был настоящий рыцарь, человек благороднейший. Судите сами, когда-то, за несколько лет до этого, я подвизался в редакциях, подрабатывая на внутренних рецензиях. И на какую-то вещь Всеволода Иванова написал тогда отрицательную рецензию, чем помешал ее прохождению. Не помню уже, как это произошло и в чем было дело, – помню только, что был убежден в своей правоте.

Так вот, поднялся Всеволод Иванов в президиум, любезно пожал мне руку и сказал очень яркое одобрительное вступительное слово о моей книге. Вот так, живешь и всю жизнь учишься у людей благородству... Выступало много писателей: Тендряков, Каверин, Лев Славин, Овечкин, Кетлинская, Михалков, критик Тамара Трифонова. Выступали изобретатели... Все как сговорились да, роман критичен, но его критика направлена против бюрократии, мешающей

прогрессу, его критичность следует в фарватере, заданном XX съездом, отвечает его духу... И еще добавляли: «Против могут быть только «Дроздовы» (бюрократ из моего романа). «Дроздовы» молчали пока... Все шло хорошо, и Симонов, сидя рядом со мной, кивал головой, одобряя, как все развивается. Нужно было сохранить тот коридор, ту брешь, которую пробил этот роман в унылой и часто фальшивой печатной массе. Мой «Не хлебом единым» жил уже вне меня.

А потом на сцену вышел Константин Георгиевич Паустовский. Я чрезвычайно уважал и сейчас уважаю этого человека и писателя. Но должен сказать, что еще в те времена, когда он приносил свои рассказы в «Комсомольскую правду», я замечал в нем некоторую, очень приятную кстати, инфантильность. Он был так непосредствен – этакое старое дитя, – и не чувствовалось в нем того тормозящего жизненного опыта, который должен контролировать каждое наше слово, каждый поступок. Его наивность, кстати, никому не приносила вреда, и мы, молодые работники «Комсомолки», с удовольствием читали его рассказы.

И вот тут, обсуждая мой роман, он вдруг «осадил» выступавших до него: «При чем тут XX съезд! Что вы тут говорите! Дудинцев правильно выдал этим бюрократам, завесил им...» Я не цитирую, а лишь излагаю по памяти.

Галерка, переполненная молодежью, – кстати, молодежь, видимо, представляет собой наиболее легкий материал, всегда в залах как бы всплывает, занимая места на самом верху, – тут же, как только Паустовский произнес эти слова, подняла крик, свист, затопала ногами и захлопала в ладоши. Константин Георгиевич, почувствовав контакт с молодежью и поощряемый ею, давай еще больше развивать эту мысль. Он рассказал о том, как ездил с «дроздовыми» в круиз по Средиземному морю, какие они все неграмотные и некультурные, прямо медведьеподобные со своими толстыми затылками... И все это он напрямую связывал с моим романом: здорово, мол, молодец Дудинцев, открыл нам глаза на эту страшную бюрократию!

Симонов толкает меня коленом и кивает на тех, сидящих в креслах: у них у всех, как заведенные, забежали в блокноты золотые перья.

– Все пропало! – тихо говорит Симонов.

И действительно – пропало... Пропало! За все это Симонов простился с креслом главного редактора «Нового мира» и был отправлен в «почетную ссылку» – на два года в Ташкент. А что означало для Симонова это место? Прежде всего он потерял возможность влиять на развитие общественной мысли, которую имел как главный редактор.

Сегодня, оглядываясь назад, я думаю, что не только выступление Константина Георгиевича определило дальнейшие события. Среди «винтиков» партийной машины были и эксперты по вопросам идеологии – «инженеры человеческих душ». Конечно, они уже прочли роман и представили «куда надо» свои соображения. Наверное, так и было... Но я передаю то, что видел я.

Вот что значит неосторожное слово. Как медведь из басни Крылова – убил булыжником комара на лбу пустытника. Я, конечно, говорю только о медведе, а не о ком-то еще.

Но и это было не всё. К тому времени «Роман-газета» уже набрала и сверстала для своих двух выпусков мой роман. Уже меня сфотографировали для обложки, уже отпечатали контрольный экземпляр... Но это уже другая история.

* * *

И потом после обсуждения мы, оживленные, сидели за ресторанным столом. Кто угощал, не помню. В оплате стола я не участвовал, а каким-то образом все было замечательно оплачено, так что никто и не заметил. Рыцарь оплачивал. Были там Симонов, Михаил Светлов – пьяненький, Александр Альфредович Бек, Юрий Олеся, Сергей Михалков, Лагин был, кто-то вспомнил, Хоттабыч! Лагин обиделся. Есть у него и другие книги. В общем, много народа.

Подняли тост за смелого редактора Симонова. Константин Михайлович задумчиво повертел рюмку в руке и поправил: «За редакторские поджилки, которые трясутся». И, как показало время, поджилки тряслись не напрасно.

А пока за пиршественным столом все казалось возможным. Брешь в броне косности и лжи была пробита.

В тот вечер мы много говорили: остроумно шутил Светлов, хвалил автора Сергей Михалков. Александр Альфредович развел руками и сказал: «Удивительно, я совсем не завидую!» Дорогой Александр Альфредович! Вот так, в своей особенной манере, вы не однажды защищали меня, но об этом речь впереди.

Пожалуй, пора перейти к самому роману. Как пришел я к мысли написать такую, по тому времени, крамолу.

Глава 2

Социальный заказ

Прежде чем перейду к истории создания и печатания моего «Не хлебом», придется сказать немного о тех специфических условиях, в которых творил советский писатель в то время.

Реакция читателя на новую книгу, как известно, не одинакова. Она может быть и положительной, и отрицательной. Причем положительной и отрицательной с множеством вариаций и оттенков, за которыми порой трудно увидеть, как лег замысел произведения на сердце читателя. И легли вообще. Но в этом многообразии присутствует одна легкоуловимая мысль: нужна ли читателю сама книга, ждал ли ее, торопил ли писателя с его сокровенным словом? Ждал ли? Главное в этом. Подобный вопрос задают себе и сами писатели. Задаю себе и я. Чувствуем ли мы, работая над произведением, ожидание читателя? Чем продиктовано это ожидание? Простым любопытством: что нового скажет автор, как откликнется на злобу дня, чем удивит? Или ожидания другого порядка – душу бередают сомнения, томится она в поисках ответа на вопросы, а вопросы сложные, как сама жизнь.

Значит, книга должна быть ответом на вопрос, может быть, еще не произнесенный. Еще не сформулированный, только смутно тронувший сознание или чувства. И еще: ожидание-то связано с временем. Вчера книга была еще не нужна, тем более – позавчера. Нужна именно сегодня. Я исключаю эту конъюнктуру, у нее своя сфера проявления и свои оценочные критерии. Разговор идет о социальной потребности в книге, в определенной книге.

Как бы я ответил на читательский и собственный вопрос?

Наверное, я наделен каким-то таким чувством: вижу, что мысль, идея, занимающая меня, недостаточно смела, недостаточно ярка по сути, и если я вокруг этой идеи наворочу какой-то художественной ткани, то результат будет противоположным задуманному. В редакции, куда я неизбежно должен буду отнести это сочинение, – его отвергнут. Садиться с таким ощущением за письменный стол нельзя, как бы ни было заманчиво само желание сказать что-то необычное, новое, интересное по сюжету и мысли.

Я сажусь за стол, когда меня «подпирает» и я каким-то внутренним чутьем угадываю, что «это» увидит свет, «это» нужно и ожидаемо читателем. В такие минуты я поистине счастлив. Работа начинается, и каждая страница приносит душевную радость.

Трижды это чувство не подводило меня: когда писал роман «Не хлебом единым», «Новогоднюю сказку» и – «Белые одежды».

Должен сказать, что еще до романа «Не хлебом единым» были напечатаны несколько моих рассказов в журналах «Огонек» и «Новый мир». А вообще, писать я начал давно. Первое стихотворение появилось в «Пионерской правде», когда мне было двенадцать лет. Потом пошли рассказы. И уже тогда, по прошествии двух-трех лет моей «литературной работы», начало складываться это чувство предвидения. Начало складываться и постепенно оформилось, вот ведь какая штука! Вместе с тем тогда путь от замысла к воплощению был другим... Я работал корреспондентом газеты «Комсомольская правда», и мое появление в редакциях было частым, обязательным даже. Впоследствии, ругая меня с высокой трибуны за роман «Не хлебом единым» и желая хорошенько пригвоздить, Алексей Сурков точно заметил: «Этот Дудинцев имеет полированное хождение по редакциям».

Сказал правду. Именно в те годы, когда я «полированно» ходил по редакциям, я столкнулся с так называемым «социальным заказом». Редактор, который меня приглашает (допустим, что это молодежная газета или журнал), говорит: – Дудинцев! У нас скоро Новый год. Давай-ка так через недельку принеси новогодний рассказ. И чтобы прямо в номер. Поскольку наш орган молодежный, значит, в этом рассказе должна присутствовать молодежь комсомол.

Должно быть также производство, желательно металлургическое, но можно и машиностроение. Должно быть соцсоревнование. И непременно – любовь. Чтобы рассказ был интересным, вставь в него, помимо ударников, еще и отсталый элемент. Любовь же должна быть не просто любовью: через нее выяви различные качества положительных и отрицательных героев. Введи ревность, чтобы мешала герою выполнять план, тогда как счастливо разрешившийся любовный конфликт зажжет твоего положительного героя на перевыполнение этого производственного плана. И девушка должна быть комсомолкой, ударницей... Положительный конец в рассказе обязателен.

Вот вам и «социальный заказ». Не всегда он формулировался столь обстоятельно, но в сознании молодого писателя в результате хождения по редакциям все эти параметры выстраивались в один типичный ряд.

Так почему же это называли именно так – социальный заказ, – а не как-то иначе?

Потому, что в то время фарисейски провозглашалось, как непреложный закон, удовлетворение запросов, в том числе и духовных, рабочего класса. А запросы эти достаточно произвольно формулировали для художника бюрократы «люди с портфелями». По тому, как они представляли себе духовный мир рабочего класса, можно судить об их, бюрократов, внутреннем мире. И каждый художник обязан был неукоснительно следовать этому «социальному заказу».

Получив такой заказ, я отправлялся домой, запирался в комнате и в полном уединении начинал думать. И, знаете, постепенно я себя так натренировал выдумывать такие заданные рассказы... И по молодости даже считал, что это и есть единственно правильный метод работы.

Однако нельзя и сказать, что это было просто трафаретом. Допускалось и даже не слишком ограничивалось какое-то разнообразие выдумки – главным условием была лишь определенная политическая цель. И тем лучше, если я все это расцвечу разнообразными приемами и поворотами сюжета, а уж коли приведу все к благополучному концу... Представьте себе, печатали, и нравилось!

Социальный заказ и его требования возникли в начале тридцатых годов, а набрали полную силу примерно к тридцать седьмому году.

Глядя из нашего времени в те годы, я могу сказать, что так преломлялась под руководством сталинской бюрократии жизнь для деятелей любого вида искусства. Как это выглядело для писателей, я вкратце рассказал. Теперь посмотрим, что происходило у художников.

Это же явление у них представлялось несколько иначе. Если смотришь картины тех времен, то видишь угловатых мужчин с маленькими головами и огромными кулаками. Женщины непременно грудастые с огромными бедрами, – все для воспроизводства рода человеческого. Именно такими считались типичные рабочие и работницы. Вместо лица – пятно цвета хорошего загара. И ни одной мысли на лицах.

Полная противоположность портретам Боровиковского, Левицкого – на тех люди мыслят. Помимо красоты, это яркие типы.

А скульпторы изображали все больше людей с этакой кочергой в руке и торчащими вверх и врозь плечами. Все одеты в утрированно брезентовую робу.

Таков был социальный заказ для художников и скульпторов.

И скажу я вам вот еще что... Я этих персонажей обнаружил в американских мультфильмах. Вот какая штука... Такие же огромные бицепсы и одинаковые невыразительные лица. И рельефные женские фигуры – даже у барсучих и мышей. А ведь по тому, что общество предлагает детям, видно, к чему оно идет. Получается, нынешние американцы похожи на тех нас. В этом обществе, которое мы привыкли воспринимать как вершину демократии, попахивает тоталитаризмом. Я недавно видел американскую картину тех лет, когда у нас шел «Светлый путь» Александрова. Там некоему лицу говорят: «Ты не веришь в американскую мечту?» И все строго смотрят на него, как у нас на того, кто усомнился бы в победе коммунизма. Тут есть

о чем подумать. К чему готовили нас... к чему готовят американцев? Но вернемся к нашему рассказу...

Когда я после войны работал в «Комсомольской правде», социальный заказ был в самом разгаре. Но «крючок» социального заказа следовало поглубже прятать в «наживку» искусственной художественности. Я писал тогда такие рассказы для «Огонька» и «Нового мира». Должен признать, что я медленно расставался с этим методом. Из глубины сознания поднималось что-то новое и с опаской выходило на страницы.

Между тем для «Нового мира» уже тогда почти не существовало таких поправок, основанных на «социальном заказе». Тем не менее в повести «На своем месте», которую я написал для этого журнала, есть следы такого заказа и повышенного интереса к формализованному пролетарию и производству – даже не то что следы, а довольно заметные черты. А вот что касается интереса к человеческим чувствам, человеческой личности и свободному мышлению, тут действительно следы начинающегося выздоровления. Твардовский их заметил. И позвал этого автора, то есть меня – хотел посмотреть на него. И посмотрел, то есть сделал такие специфические круглые и озорные глаза, постучал по какой-то странице рукописи пальцем и сказал: «Ничего!» На этом и кончилась наша первая беседа.

Это был, если не ошибаюсь, 1950 год.

Однако болезнь вовсе не была изжита. И поэтому, когда редактор формулировал свой очередной социальный заказ (это касалось и газетных очерков), я закупал папиросы и, куря их одну за другой в запертой комнате, приводил себя в то состояние окуренности табачным дымом, когда сам себе казался похожим на античную старуху Пифию, которая склонялась над ручьем Гиппокреной, источавшим ядовитые пары, и, надышавшись ими, начинала предсказывать будущее.

Так и я, продымившись табаком, одурев от него, все думал и думал о том, как же совместить эти требуемые от меня качества будущего сочинения. И в конце концов это всегда получалось. Я был так хорошо натренирован, что заставлял себя сделать то, что от меня ожидали, и сдавал рассказ или какой-нибудь очерк к какому-нибудь празднику или очередной кампании. Причем устаивался еще и похвалы.

Социальный заказ как сила, толкающая художника к подлинному творчеству, и в самом деле существует. Однако он выглядит совершенно иначе. А вот как именно – об этом разговор пойдет позже.

По истинно социальному заказу был написан мой первый роман «Не хлебом единым»... Никто мне не давал специального задания писать этот роман, никто не задавал каких-то параметров, как никто не рисовал для меня фона, который должен был преобладать в романе. Социальный заказ я получил непосредственно от общества – социума. И сразу куда-то исчезла Пифия.

Я расскажу, как это получилось, но стоп...

Глава 3

Несколько строк о себе

Думаю, не будет вредным сказать несколько слов о себе, открыть некоторые ранние страницы моей биографии, без чего, мне кажется, не всё будет понятным. Например, почему я, прожив семьдесят лет, так и не стал членом партии. Действительно, почему? Вступить в партию был у меня случай и не однажды. Это происходило так: какой-нибудь очередной парторг в редакции, где я работал, отводит меня в сторону и говорит примерно следующее:

– Дудинцев, черт возьми, долго ты будешь так болтаться беспартийным?! Пора вступать в наши ряды!

Я ему отвечаю:

– Охотно. Готов хоть сейчас, но мне нужна рекомендация...

– Так я же тебя хорошо знаю! Я первым дам тебе рекомендацию!

– Отлично, – говорю я. – Наконец дождался этого дня.

– Ну вот, давай пойдем и побеседуем. Должен же я знать, что там у тебя есть... Хотя что такого может быть в твоей биографии: ты человек молодой... Ну, пойдем!

Мы уединились, и я начинал рассказывать:

– Я родился в помещичьей семье...

Был такой род Жихаревых, владевший на юге России (теперь это Украина) крупным имением. В 1918 году, не успев я родиться и вдохнуть воздух окружающего мира, однажды нагрянули какие-то люди с винтовками и поставили к стенке – расстреливать – моих бабушку и мать. А мать-то со мною, полугодовалым, на руках. Застрелили бабушку, после чего подняли винтовку на мою мать... Но она взяла ее за дуло и опустила. Тут один из «гостей», более пожилой, чем остальные, видимо, он имел больше жизненного опыта и сердца, приказал остальным:

– Оставьте их!

Таково было мое крещение. Рассказываю об этом парторгу, а он отвечает:

– Ну что ты, Володя, какая чепуха. Такое с каждым могло случиться, ты же тогда младенец был. Знаешь, давай мы с тобой как-нибудь встретимся и все решим...

И больше он ко мне не подходил. Не подходил больше к нему и я.

Я воевал. Был командиром пехотной роты. На войне было гораздо проще со вступлением в партию – помните: «Если не вернусь, прошу считать меня коммунистом». Но рекомендации мне не давали и тут. Я по своей какой-то наивности, немного посмущавшись, рассказывал... приведенные факты моей биографии, на что слышал в ответ:

– Ну ты молодец, Дудинцев, что все так честно рассказываешь. Не скрывай прошлого, это самое главное.

И на этом все кончалось.

Мать рассказала мне, что мой отец, девятнадцатилетний штабс-капитан русской армии Семен Николаевич Байков, был расстрелян в Харькове. Родив меня в совсем юном возрасте, она в восемнадцать лет осталась вдовой.

Юность моей матери была омрачена тяжкими испытаниями.

Потеряв мать, расстрелянную в Жихаревке на ее глазах, она едет в Харьков, чтобы найти тело мужа. И находит его во рву среди трупов других, тоже выброшенных из госпиталя и убитых офицеров. Считается, молодость быстро лечит раны. Но след остался, конечно. Мама рано тяжело заболела и к пятидесяти годам умерла.

У матери был хороший голос. Имела она и музыкальную подготовку – и стала артисткой оперетты. Попала сразу же на первые роли: «Запорожец за Дунаем», «Наталка-Полтавка» – все происходило ведь на Украине; мать была и неплохой пианисткой.

Побыв год или два на сцене, она вышла замуж за Дмитрия Ивановича Дудинцева, моего отчима. Был он по профессии землемер – разъезжал по деревням и занимался размежеванием земель: наставлял теодолит – перед ним несли пеструю рейку – он махал рукой, что-то записывал в журнал, и все шли дальше. Я все это наблюдал с детства – он возил меня с собой.

Это был интеллигентный человек дореволюционной закваски. Но говорю я это не потому вовсе, что мне милее дореволюционная жизнь. Нет, гораздо больше мне нравится современная жизнь, я не видел киноленты значительнее и интереснее.

Когда-то я прочитал прекрасный роман Ч. Диккенса «История двух городов» о Великой французской революции 1789 года. И долго еще после этого сожалел, почему я не родился во Франции, да еще в то время – то-то интересное можно было написать! Какой размах событий, какие страсти! Но потом я понял: зачем мечтать о другом времени и месте, когда я счастливейшим образом родился в своей стране и в свое время. Чудесное место и чудесное время! Замечательно сортирует людей, выявляя их глубинные качества!

Эта страна, этот народ и это время подарили мне счастье литературного творчества – так что я отмечаю особую интеллигентность моего отчима не потому, что скучаю по дореволюционному времени, а потому, что жизнь дала мне возможность увидеть настоящих интеллигентов, сравнить их с огромным числом людей, вовсе не интеллигентных, наблюдать тех и других в живом деле.

Итак, о моем отчине. Он составлял на полях единоличных в то время крестьянских владений планы-чертежи и прилагал к ним так называемые экспликации, то есть описания земель: их расположение, качество и так далее. И вот я, научившись грамоте в пять лет, начал читать эти самые экспликации, и лучшего чтения для меня не было. Они были написаны сладчайшим, настоящим русским языком: отчетливым, строгим, ясным и в то же время изобразительным. Через эти экспликации, которые у нас везде лежали пачками, я получил от отчима первые наглядные уроки русской словесности. Книжки про зайчиков и лошадок, которые мне давали, не шли ни в какое сравнение с этими экспликациями. Я узнавал в его описаниях те земли, по которым мы с ним ездили, – лучшего и не придумаешь!

Отчим привил мне вкус к художественному слову, его изобразительным свойствам, его эстетическому содержанию, научил меня наслаждаться красотой речи. Кроме того, они оба, вместе с моей матерью, сумели создать в нашей семье – о чем я до сих пор вспоминаю с величайшей благодарностью – какую-то особую культуру жизни.

У нас в доме никогда не было водки. О том, что это такое, я узнал по-настоящему только на фронте, где нам выдавали сталинские сто грамм. А пока не узнал, был с этой стороны очень «розовый мальчик». К пьяницам относился с большим предубеждением, как к чему-то чуждому.

Водки в семье не было, но гости собирались постоянно. Если и было на столе вино, так сладкое, вроде церковного: интеллигенция прежних дней любила эти виноградные вина. Но пили главным образом чай, к которому мать непременно испекала пирог. И – разговоры, разговоры на самые актуальные темы...

Но раз в неделю бывали такие собрания, на которых музицировали. Мать садилась за рояль, ставила на пюпитр клavier «Кармен» или «Аиды» – в доме было много толстых нотных книг, – за спинкой ее стула становился отчим – в дальнейшем я буду называть его отцом – и, приложив одну руку к сердцу, другую же отведя в сторону, готовился запеть. У него был красивый баритон, и в свое время он также учился пению, даже мечтал о карьере оперного певца...

Вот рядом с ним становится его брат, дядя Ваня: он приложил к плечу скрипку, поднял смычок – готовится заиграть. И – звучит квартет, хотя исполнителей всего трое: мать поет и играет на рояле, отец также поет, дядя Ваня же играет на скрипке. Я, в то время пятилетний, устраивался в ногах у матери, возле ее коленей, и слушал...

Это длилось многие годы...

Причем это были не просто концерты, их, пожалуй, можно было назвать своеобразными концертами-лекциями, потому что исполнители время от времени останавливались и говорили друг другу:

– Ты заглушаешь партию сопрано!

– А здесь ты передержал – тянул слишком долго...

– Нарушен ансамбль...

А я все понимал и получал от взрослых, таким образом, без всякого преподавательского нажима, без навязчивости, самое большое, что мог бы от них получить: ведь это мне напрямую не адресовалось. Кроме того – и это важнее всего, – я получал какие-то основы художественного вкуса. Все это закладывалось в семье.

И тем не менее я считаю, что бытие сознания не определяет...

Человек очень сложен. И велик. Французский философ Тейяр де Шарден, к примеру, рассматривая мир и место в нем человека, полагает, что они – мир и человек – есть взаимосвязанная сложность. И я пришел к тому, что вульгарно-материалистическая оценка человека как механизма, как функции каких-то наружных, зримых сил – неправильна. Это слишком мало для человека, который является частью какого-то великого космического процесса.

Поэтому говорить о том, что сознание человека определяется окружающей его средой, по меньшей мере неверно. Среда для человека является лишь тем безгорючим камнем, который, помните, определял витязю: пойдешь прямо – коня найдешь, пойдешь налево – жену найдешь, пойдешь направо – смерть найдешь. А уж витязь сам выбирает! Последнее слово – за его волей.

Право выбора...

Как пример – на войне я не погиб, хотя и был ранен. Между тем острых ситуаций на войне хватало. Старался оценить обстановку и вел себя в соответствии с ней. Не потому, что боялся – нет, было, конечно, страшно. Но тут действовал разум.

Однажды над полем зрелой ржи летел немецкий самолет. Вижу: на его крыльях мерцают белые огоньки, а рожь под ними ложится... И эта полоса ржи, полегшей от пуль, приближается ко мне. Я посмотрел налево, посмотрел направо. Поодаль – деревянный сруб, колодец, значит. Я туда как прыгнул – и загремел вниз, в самую воду. Очень вовремя и удачно я махнул: туда попало, в верхнюю часть сруба.

Подобных случаев в моей жизни было множество. Из-за своей привычки к пристальному наблюдению я, очевидно, в нужный момент принимал какие-то правильные решения. Когда я, бывший артиллерист, стал командиром пехотной роты, она несла потерь меньше, чем другие: я располагал солдат по переднему краю таким образом, чтобы вражеский огонь наносил нам возможно меньше потерь, – зная систему огня немцев, рассчитывал, что если первые снаряды упали таким-то образом, следующие лягут кучно, рядом с нами. И вовремя уводил своих солдат в другое место, – и все подтверждалось: там, где мы только что лежали, земля буквально перемешивалась снарядами.

Наверное, подобная прозорливость и тактика применимы не только на войне. Они необходимы во всякой борьбе и, конечно же, в борьбе Добра со Злом. Это – как бы синтез сознания и окружающего бытия. Но в данном случае бытие моего сознания не определяло, а только предъявило ему определенный экзамен, тест, на который сознание отвечало должным образом, формируя решение и поступок.

Итак, в нашем доме были музыкальные вечера...

Однажды отец заметил, что я хожу по комнате (И произношу ритмические слова, расположенные в таком порядке, чтобы получился определенный рисунок, а иногда рифма. И вот на одном из наших семейных собраний он встает и неожиданно для всех провозглашает:

– Объявляется конкурс на написание стихотворения в честь дня рождения нашей мамы. Объем его должен быть... – и он подробно излагает условия, – и первая премия – большой игрушечный паровоз с вагонами!

Надо сказать, что этот самый паровоз, выставленный на витрине одного из магазинов, давно уже был предметом моих воздыханий. Я, конечно, тут же бросился писать стихи, неисчислимое количество раз переписывая их начисто. Наконец сделал все как надо и подал. В другое застолье отец зачитал постановление жюри:

– Поступило стихотворение. Жюри, посоветовавшись, сочло необходимым присудить первую премию Володе, – и достает паровоз.

Автору же велели под аплодисменты читать свое произведение.

Такие конкурсы в последующем шли непрерывно, пока я не вырос настолько, что стал понимать: это игра. А до того времени все шло очень серьезно. Отец как бы чутьем угадал эту правильную линию воспитания, развившую во мне уже заложенные литературные начала: честолюбие, творческую дерзость, и эти свойства в будущем сыграли-таки свою роль...

Тут также можно утверждать: не бытие определило мое сознание, потому что другой, может быть, и не отозвался бы на этот конкурс, не был бы готов, не вцепился бы руками и ногами отчаяннейшим образом в эту возможность, как это сделал я.

И вот как-то он снова объявляет конкурс – на этот раз на написание картины. Это была литография с полотна Маковского, где были изображены две охотничьи собаки на лугу. Одна из них – пойнтер, другая – сеттер. Видно, Маковский сам был заядлым охотником, что сумел так удачно схватить эту их позу стойки по дичи. Хороша была картина! Так вот. Конкурс был объявлен на то, чтобы скопировать эту картину.

– Желаящим принять участие, – сказал мой отец, – жюри предоставляет холст, краски и кисти.

Я испортил немало того и другого, но картину сработал-таки. Она была, конечно, премирована и висела у нас на стене до самого начала войны – отец тогда еще был жив. Потом я даже нарисовал портрет самого Дмитрия Ивановича, землемера в соломенной шляпе, и похоже, знаете...

(Жена. У Дмитрия Ивановича Дудинцева был свой подход к воспитанию растущего человека. Он готовил его к самостоятельности, что и сказалось, когда Володя сам, без его помощи начал ходить по редакциям, подавал на конкурс и получал премии. Но наступил день, когда отец решил, что сын созрел для полной самостоятельности и должен себя обеспечивать сам. Это было после Всесоюзного конкурса, посвященного XVII партсъезду, когда сыну было 15 лет. С того времени Володя в полном смысле этого слова «поднялся на крыло», и, когда я познакомилась с ним в 17 лет, он был уже вполне взрослым, ни от кого не зависящим человеком.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.